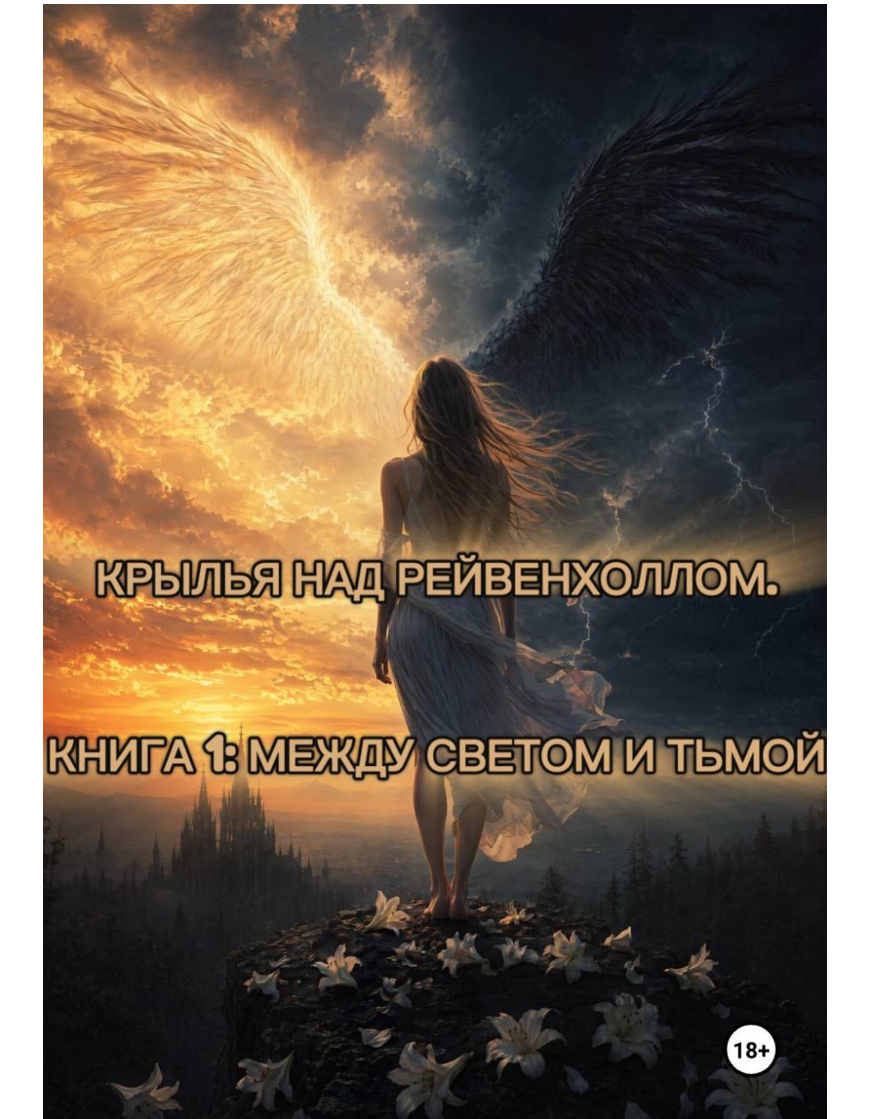




КРЫЛЬЯ НАД РЕЙВЕНХОЛЛОМ.

КНИГА 1: МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЬМОЙ

18+

Ксения Мандрик

Крылья над Рейвенхоллом.

Книга 1: Между светом и тьмой

<https://litres.ru/74136768>

SelfPub; 2026

Аннотация

Элиза Грей обычная восемнадцатилетняя девушка, которая не подозревает о силе, которая таится внутри неё с самого рождения.

Оказавшись в доме умершей бабушки, сталкивается со своими ночными кошмарами лицом к лицу - ангел и демон. Оба хотят получить её душу, чтобы склонить чашу весов в сторону света или тьмы.

Страх. Отчаяние. Ощущение неизбежности гибели, а потом... Дружба и любовь: запретные, опасные, настоящие...

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	28
Глава 3	53

Ксения Мандрик

Крылья над Рейвенхоллом.

Книга 1: Между светом и тьмой

Глава 1

Глава первая. Дом на Клён-стрит

Дождь начался ровно на границе города.

Элиза заметила это с той бессмысленной точностью, с какой замечаешь всякие мелочи, когда слишком долго молчишь в машине рядом с человеком, которому нечего сказать. Только что за окном тянулись поля — жёлто-бурые, размокшие, с чёрными росчерками голых деревьев на горизонте, — вокруг было уже по-осеннему серо, но везде было сухо, дождя не предвиделось. А потом машина миновала покосившийся указатель с облупившимися буквами «РЕЙВЕНХОЛЛ. НАСЕЛЕНИЕ 3 412 ЧЕЛОВЕК.», и в ту же секунду по лобовому стеклу ударили первые капли. Сразу ливнем — как будто кто-то там, наверху, ждал именно их и повернул невидимый кран, стоило колёсам пересечь черту.

— Началось, — проворчала Хелен, включая дворники.

Элиза покосилась на мать. Та смотрела на дорогу прямо перед собой, крепко держа руль обеими руками — так, как держатся за него люди, которые не любят и немного боятся водить. Лицо у неё было усталое. Оно было усталым уже третий день — с тех пор, как пришло письмо от нотариуса, и Хелен, прочитав его на кухне их съёмной квартиры, долго сидела молча, а потом сказала странным, деревянным голосом: «Мама умерла. Нам оставили дом».

Не «моя мама». Не «твоя бабушка». Просто — мама. И «нам». Как будто дом свалился на них общей бедой, которую предстояло разделить.

— Ты давно здесь не была? — спросила Элиза.

Дворники прошлись по стеклу — раз, другой.

— Восемнадцать лет, — сказала Хелен.

Элизе было восемнадцать. Значит мама сбегала из этого маленького серого города уже беременной ею, а может она сбегала от кого-то, о ком не хочет вспоминать... Элиза хорошо помнила, что мать никогда, ни разу за всю её жизнь, не возила её сюда — в город, где выросла сама, в дом, где жила её собственная мать. Не привозила и не рассказывала. Бабушка Маргарет была для Элизы фигурой почти сказочной: где-то там, далеко, в старом доме на холме, жила бабушка, с которой мама «не в лучших отношениях», и это всё, что полагалось знать. Раз или два в год приходила открытка — неровным, размашистым почерком, с одной и той же короткой фразой: «Помни, что я тебя люблю. М.». Хелен убирала

эти открытия в ящик стола, и лицо у неё делалось при этом такое, что Элиза научилась не спрашивать.

А теперь Маргарет умерла — тихо, во сне, в своей постели, как сказал нотариус, — и оставила всё. Дом. Мебель. Землю. Всё, что было. Не дочери. Внучке.

Элиза прокручивала в голове снова и снова, как мать читала письмо, и как на этой строчке — «наследство завещано мисс Элизе Грей» — её пальцы дрогнули, и бумага в них зашуршала.

— Странно, что она оставила всё мне, — осторожно сказала Элиза. — Я её даже не помню. Совсем.

— Ничего странного, — сухо ответила Хелен. — У моей матери на всё были свои причины. Обычно — сумасшедшие.

И замолчала так плотно, что Элиза поняла: продолжать не стоит.

Она отвернулась к окну.

Рейвенхолл проступал сквозь дождь медленно, неохотно, будто не желал, чтобы его рассматривали. Сначала — редкие дома на окраине, приземистые, с тёмными окнами. Потом — улицы поуже, теснее, вымощенные старым булыжником, по которому машину начало потряхивать. Дома здесь стояли плечом к плечу, высокие, узкие, с островерхими крышами и слепыми мансардными окошками под самыми коньками. Много камня. Много почерневшего от времени дерева. Мало людей. Редкие прохожие шли, надвинув капюшоны и раскрыв тёмные зонты, и никто из них не поднимал головы,

не оглядывался на проезжающую машину.

А над всем этим — Элиза заметила его сразу, как только он показался из-за крыш, — возвышался собор.

Огромный, серый, с двумя острыми башнями, вонзёнными в низкое небо, как два пальца, грозящих облакам. Он стоял на холме в самом центре города, и от него, казалось, расходились все улицы, как спицы от ступицы колеса. И весь Рейвенхолл будто прижимался к земле в его тени — ниже, темнее, покорнее.

— Красивый, — сказала Элиза, глядя на собор.

Хелен бросила на него быстрый взгляд и снова отвернулась к дороге.

— Мрачный, — сказала она. — Как и всё здесь.

Часы на одной из соборных башен пробили — низко, гулко, и звук этот прокатился по мокрым улицам и, казалось, проник прямо сквозь стекло машины, отдался у Элизы где-то под рёбрами. Она машинально поднесла руку к груди. Станный жест. Как будто она ждала нащупать что-то, чего пока не было.

Элиза нахмурилась и опустила руку.

Дом на Клён-стрит стоял на холме на самой окраине, там, где мостовая уже переходила в разбитую грунтовку, а город редел, уступая место чёрному лесу, подступавшему с северной стороны. Улица была короткой, тупиковой, и вдоль неё

росли клёны — старые, узловатые, растерявшие почти всю листву; те немногие листья, что ещё держались на ветках, были мокрыми и красными, как запёкшаяся кровь.

Хелен остановила машину у последнего дома и заглушила мотор.

Несколько секунд они обе просто сидели и смотрели.

Дом был высоким — в три этажа, если считать мансарду под скатом крыши, — и узким, зажатым между собственными двумя фронтонами, как книга между тяжёлыми переплётами. Тёмно-серый камень фундамента, потемневшее до черноты дерево верхних этажей, узкие окна с частым переплётом стёкол, за которыми не было видно ничего, кроме отражения серого неба. Крыша круто уходила вверх, и на самом её коньке торчал флюгер — кованая птица с распахнутыми крыльями, и от старости и ржавчины было не понять, ворон это или что-то другое. Птица не двигалась, хотя ветер трепал голые ветви клёнов. Стояла, повернув острый клюв в сторону леса, и смотрела туда, куда смотреть не хотелось.

Дом выглядел так, будто его не любили. Или он не любил.

— Ну здравствуй, — сказала Хелен тихо, будто обращаясь к дому. — Ничего не изменилось.

Дождь барабанил по крыше машины.

— Ты точно хочешь тут жить? — спросила Элиза. — Мы могли бы продать его. Ты сама говорила.

— Продать, — повторила мать, будто пробуя слово на вкус, и оно ей не понравилось. — Кто ж его купит. В таком-то

городе. — Она отстегнула ремень. — К тому же нам надо где-то жить, а платить за квартиру больше нечем. Дом хотя бы наш. Ну, — она едва заметно усмехнулась, — твой.

Они выбрались из машины под дождь и бегом, прикрываясь сумками, добрались до крыльца — трёх широких каменных ступеней, стёртых посередине множеством ног, и тяжёлой двери из тёмного дерева, окованной чёрным железом. Хелен долго возилась с ключом — старым, длинным, зазубренным, совсем не похожим на нынешние. Замок не поддавался. Потом вдруг поддался разом, с тяжёлым, утробным лязгом, и дверь отворилась внутрь, в темноту, пахнувшую на них холодом, пылью и чем-то ещё — сладким, цветочным, неуместным.

Элиза замерла на пороге.

— Чувствуешь? — спросила она.

— Что?

— Пахнет. Цветами.

Хелен потянула носом, пожала плечами.

— Пылью пахнет. И сыростью. Заходи, не стой под дождём.

Но Элиза чувствовала. Отчётливо. Из глубины тёмного дома тянуло сладким, тяжёлым, узнаваемым запахом — запахом лилий. Тем самым запахом, который приходил к ней всю жизнь на границе сна, вместе с двумя фигурами, звавшими её по имени. Она стояла на пороге чужого дома в чужом городе — и вдыхала запах из своих снов. По коже про-

бежали мурашки, а волосы на затылке зашевелились

— Ну что ты? — Хелен уже щёлкала выключателем в прихожей; под потолком, помигав, разгорелась пыльная лампа, залив тесное пространство желтоватым мрачным светом. — Проходи скорее.

Элиза сделал ещё пару шагов внутрь дома.

И запах лилий тут же исчез — будто его и не было. Остались только пыль, холод и сырость, ровно как говорила мать.

Внутри дом оказался ещё больше, чем снаружи, — так бывает со старыми домами, где комнаты нанизаны одна на другую, а коридоры сворачивают там, где не ждёшь. Прихожая была тесной, заставленной: подставка для зонтов, вешалка с одиноким серым пальто, которое, должно быть, принадлежало Маргарет, и высокое, в человеческий рост, зеркало в потемневшей раме. Элиза мимоходом взглянула в него — и на миг ей показалось, что отражение шевельнулось чуть позже, чем она сама. На долю секунды. Как эхо.

Она моргнула. Отражение, как отражение. Бледная девушка с тёмными волосами, слипшимися от дождя, в мокрой куртке. Серо-зелёные глаза, слишком большие для её худого лица. Ничего необычного.

— Гостиная тут, — донёсся голос матери из-за поворота. — Кухня дальше. Господи, сколько же тут всего...

Элиза пошла на голос — и оказалась в большой комна-

те, где под белыми чехлами горбились кресла и диван, будто спящие животные. Хелен уже стягивала один из чехлов, поднимая облако пыли, и кашляла. Над камином висело большое зеркало, а по стенам — картины и фотографии в тяжёлых рамах. Много фотографий. Элиза подошла ближе.

Портреты женщин — старые, чёрно-белые, некоторые совсем выцветшие, желтоватые, некоторые — посвежее, но всё равно «повидавшие жизнь». Женщины разных лет: в старомодных платьях с высокими воротниками, в шляпках, в простых блузах. Разного возраста, разной наружности — но было в них что-то общее, неуловимое, что Элиза почувствовала сразу. Что-то в глазах. В том, как они смотрели в объектив — прямо, серьёзно, без улыбки. Как будто все они знали одну и ту же тяжёлую тайну и несли её каждая по-своему.

И у каждой на шее — Элиза наклонилась ближе, вглядываясь, — у каждой на шее висел один и тот же медальон. Небольшой, в форме двух крыльев. Одно светлое, другое тёмное.

— Кто это? — спросила Элиза.

Хелен обернулась, проследила за её взглядом — и лицо её на мгновение застыло.

— Родня, — сказала она коротко. — По материнской линии. Династия Грей. — ей будто было неприятно это произносить.

— Все Грей?

— Все Грей. — Хелен снова отвернулась к дивану, к чех-

лам, к пыли — ко всему, что можно было делать руками, лишь бы не смотреть на стену. — Женщины в нашем роду всегда носили свою фамилию. Не брали мужних. Странная традиция. Одна из огромного количества глупостей, которыми славится наша семья.

— А это кто? — Элиза указала на крайний портрет — женщину лет шестидесяти, с седыми волосами, собранными в узел, и с таким прямым, пронзительным взглядом, что даже с пожелтевшей фотографии он словно упирался прямо в тебя.

Хелен молчала долго.

— Это моя мать, — сказала она наконец. — Твоя бабушка. Маргарет.

Элиза вгляделась в лицо женщины, которую не помнила и которая оставила ей целый дом. Строгое лицо. Умное. Усталое. И — Элиза не могла отделаться от этого впечатления — испуганное. Не в тот миг, когда делали снимок, а вообще. Глубоко, изнутри. Как будто эта женщина всю жизнь чего-то боялась и научилась жить с этим страхом.

На шее у Маргарет висел тот же медальон. Два крыла — светлое и тёмное.

— А где сейчас этот медальон? — спросила Элиза. — Который у всех на фотографиях.

— Понятия не имею, — сказала Хелен слишком быстро. — Наверное, потерялся. Или похоронили вместе с ней. Пойдём, покажу тебе, где будешь спать. Наверху есть комната.

Твоя. То есть... ну, ты понимаешь.

Комната наверху была комнатой Маргарет.

Хелен не сказала этого прямо — она вообще, кажется, очень старалась ничего не говорить прямо о матери, — но Элиза поняла сразу, едва переступила порог. Это была комната, в которой жили. Не гостевая, а жилая, обжитая, хранящая присутствие того, кто провёл в ней годы. Широкая старая кровать под тёмным балдахином. Туалетный столик с помутневшим зеркалом и рядом стеклянных флаконов. Кресло у окна — потёртое, с продавленным сиденьем, повернутое так, чтобы сидящий видел сад и лес за ним. Книжные полки от пола до потолка, забитые томами в кожаных переплётах. И на всём — тонкий слой пыли, будто дом задержал дыхание в тот день, когда его хозяйка перестала дышать, и с тех пор так и не выдохнул.

— Тут спала мама, — сказала Хелен, стоя в дверях и не заходя внутрь. — Если тебе неприятно, можем найти другую комнату. Дом большой.

— Нет. — Элиза сама удивилась тому, как быстро ответила. — Нет, всё хорошо. Мне нравится.

И это была правда. Станным образом ей здесь нравилось. Комната была печальной, тёмной, полной чужих вещей — но в ней было что-то ещё. Что-то тёплое под этой печалью. Как будто её ждали.

— Ну, как знаешь. — Хелен переступила с ноги на ногу.
— Я буду внизу. Займу спальню за кухней. Разберёшь вещи
— спускайся, поедим.

Она ушла. Элиза слышала, как её шаги удаляются по коридору, спускаются по скрипучей лестнице, стихают внизу.

Дождь стучал в узкое окно. За стеклом сгущались ранние осенние сумерки — серые, размытые, стирающие грань между садом и подступающим лесом. Элиза поставила сумку на кровать, но разбирать её не стала. Вместо этого она медленно обошла комнату, ведя пальцами по корешкам книг, по резному краю столика, по холодному стеклу флаконов. Пыль оседала на подушечках пальцев.

Ей казалось, будто она трогает чью-то жизнь.

Кто ты была, бабушка Маргарет? — думала она. Чего ты боялась? Почему мама тебя ненавидела — а ты оставила всё мне, внучке, которую даже не знала?

Она остановилась у туалетного столика и посмотрела в мутное зеркало. В нём отражалась комната — тёмная, длинная, уходящая в сумрак. И она сама, бледная, на фоне этой темноты. И на миг Элизе почудилось, что в самой глубине отражения, за её спиной, в дальнем тёмном углу комнаты, где не было ничего, кроме тени, что-то есть. Кто-то стоит. Высокий. Тёмный. Смотрит.

Она резко обернулась.

Угол был пуст. Только тень. Только шкаф да сгусток темноты за ним.

Сердце колотилось. Элиза заставила себя дышать медленно, глубоко. Устала, сказала она себе. Дорога, дождь, чужой дом, эти фотографии. Мерещится.

Она подошла к столику, взяла первый попавшийся флакон — тяжёлый, гранёный, с притёртой пробкой — и, скорее чтобы отвлечься, чем из любопытства, вытащила пробку и поднесла к носу.

Лилии.

Тот самый запах. Густой, сладкий, тяжёлый. Запах из снов.

Элиза застыла с флаконом в руке. Значит, вот откуда это запах. Духи. Бабушкины духи. Вот что она почуяла на пороге — просто застоявшийся в доме аромат старой парфюмерии. Ничего сверхъестественного. Простое, скучное объяснение.

Но почему тогда, — думала она, глядя на флакон, — почему тогда этими самыми лилиями пахло в моих снах ещё в городе? За сотни миль отсюда? Всю мою жизнь? Задолго до того, как я узнала об этом доме, об этой комнате, об этом флаконе?

На это простого объяснения не было.

Элиза закрыла флакон и осторожно поставила на место.

Позже, вечером, когда они с матерью поели на кухне — молча, при свете единственной лампы, консервами и хлебом, привезёнными из города, — и Хелен, сославшись на

усталость, ушла к себе, Элиза вернулась в комнату наверху. Спать не хотелось. Дом вокруг жил своей ночной жизнью: где-то поскрипывали половицы, где-то капала вода, где-то ветер находил щель и тихо, протяжно свистел в ней. Элиза села за туалетный столик — тот самый — и, сама не зная зачем, стала выдвигать ящики. Один за другим.

В верхнем лежали расчёски, шпильки, старые лекарства в пожелтевших упаковках. Во втором — письма, перевязанные лентой, читать которые Элиза не решилась. А третий, нижний, не выдвигался. Он застрял — или был заперт.

Элиза потянула сильнее. Ящик подался с сухим треском — и она поняла, что он не был заперт, просто его давно не открывали, и дерево разбухло. Внутри лежала одна единственная вещь.

Шкатулка. Небольшая, деревянная, тёмная, с потёртой крышкой, на которой был вырезан узор — два крыла, обращённые друг к другу. Одно распахнутое, острое. Другое — плавное, мягкое.

Руки у Элизы вдруг похолодели, хотя в комнате было достаточно тепло.

Она достала шкатулку. Та оказалась неожиданно тяжёлой для своего размера. Крышка открылась легко, без усилия, словно только и ждала — и внутри, на подкладке из выцветшего бархата, лежал он.

Медальон.

Тот самый. С фотографий. С шеи каждой женщины на

стене внизу. С шеи бабушки Маргарет. Два крыла — светлое и тёмное — сплетённые на тонкой, но крепкой серебряной цепочке. Светлое крыло было выполнено из какого-то белого, почти жемчужного металла, гладкого, тёплого на вид. Тёмное — из чёрного, матового, поглощавшего свет. И там, где крылья соединялись, был маленький камень — не то тёмный, не то светлый, менявший цвет, стоило чуть повернуть медальон: то серый, как грозовое небо, то золотистый, как янтарь.

Элиза долго смотрела на него.

«Наверное, потерялся, — сказала мать. — Или похоронили вместе с ней».

Не потерялся. И не похоронили. Он лежал здесь, в запёртом ящике комнаты Маргарет, спрятанный в шкатулке, которую нетрудно было найти тому, кто станет искать. Как будто его оставили здесь нарочно. Для того, кто придёт после.

Для неё.

— Это глупо, — сказала Элиза вслух, и собственный голос показался ей чужим в тишине комнаты. — Это просто украшение.

Она взяла медальон в руки.

Металл был прохладным — обычная прохлада серебра, лежавшего в закрытом ящике. Крылья ощущались под пальцами странно живыми: светлое — гладким и тёплым, тёмное — почему-то чуть более холодным, хотя это было невозможно, ведь они лежали рядом, в одной шкатулке, при одной

температуре. Элиза провела большим пальцем по тёмному крылу, потом по светлому. Разница была едва уловимой — но она была. Как будто одно крыло тянуло тепло из ладони, а другое отдавало его.

И, повинувшись порыву, которого сама не могла объяснить, Элиза расстегнула застёжку и надела цепочку на шею.

Медальон лёг ей на грудь, поверх кофты, точно между ключиц. И в тот же миг ей показалось — на одно короткое, обморочное мгновение, — что весь дом вокруг замер. Затих. Прислушался.

Скрип половиц смолк. Дождь прекратился. Ветер за окном перестал свистеть в щели.

Тишина.

Секунд пять и всё вернулось. Половицы, капли дождя, ветер. Дом снова задышал.

Она подняла руку и коснулась медальона. Тёплое крыло. Холодное крыло. Между ними — камень, в котором, если долго смотреть, будто дрожал слабый свет.

— Ладно, — прошептала Элиза своему отражению. — Ладно.

Она не знала, с чем соглашается. Но чувствовала, что надев эту вещь, переступила границу чего-то, что пока не видела и не могла осмыслить.

Элиза решила, что достаточно на сегодня эмоций. Она надела ночную рубашку и легла в холодную постель. Ей каза-

лось, что новое место не позволит ей быстро заснуть, всё здесь было чужим и непривычным. Но спустя мгновение она почувствовала, как проваливается в сон, будто некая сила тянула её из этого мира.

Ей снова снился сон.

Он приходил к ней всю жизнь — сколько она себя помнила, — но никогда ещё не был таким ясным.

Она стояла посреди белого пространства. Не комнаты, не поля, не тумана — просто белого пространства, у которого не было ни стен, ни пола, ни потолка. Свет отовсюду и ниоткуда одновременно. И пахло лилиями — так густо, так сладко, что кружилась голова.

А потом в этом пространстве появились двое.

Они всегда приходили вдвоём. Всегда с двух сторон — один справа, другой слева, — и всегда так далеко, что она не могла разглядеть лиц. Только силуэты. Один был светлым — таким светлым, что почти сливался с белизной вокруг, и глаза уставали смотреть на него, и хотелось отвернуться, как отворачиваешься от солнца. От него исходило сияние — ровное, спокойное, холодное. И странно: чем дольше Элиза смотрела на светлую фигуру, тем холоднее ей становилось. Будто она стояла на снегу, босая, и свет этот не грел, а выстуживал изнутри.

Другой был тёмным.

Тёмным так, как бывает тёмной ночь в глухом лесу, или глубокая вода, где не видно дна, или то, что прячется под кроватью в детстве. Он не сиял — он поглощал свет вокруг себя, и белизна возле него меркла, сгущалась, темнела. И всё же — Элиза не понимала этого, но чувствовала каждой клеточкой — от тёмной фигуры шло тепло. Живое. Тянущее. Такое, к какому хочется подойти в холодную ночь, протянуть руки, прижаться. Опасное тепло. Тепло костра, у которого можно согреться, а можно сгореть.

И оба звали её.

— Элиза, — говорила светлая фигура — голосом, похожим на пение, на далёкий колокол, на что-то чистое и печальное одновременно. — Элиза. Иди сюда. Иди ко мне. Здесь ты будешь в безопасности.

— Элиза, — говорила тёмная фигура — голосом низким, тёплым, обволакивающим, от которого что-то сжималось у неё внутри и хотелось шагнуть навстречу. — Элиза. Ты знаешь, что тебе нужно. Иди. Иди ко мне.

И, как всегда во сне, она не могла сделать выбор.

Она стояла посередине — между светом и тьмой, между холодом и теплом, — и оба голоса тянули её к себе, звали по имени, и оба обещали что-то, чего она не понимала, и оба лгали. Она знала, что оба лгут. Не понимала откуда — но знала это так же твёрдо, как знала своё имя, которое они повторяли на разные голоса.

— Кто вы? — крикнула она в пространство, как кричала

уже тысячу раз во сне. — Чего вы хотите?

И, как всегда, ответа не было. Только имя, звучащее с двух сторон. И запах лилий, всё гуще, всё тяжелее, забивающий горло, застилающий глаза.

Но в этот раз что-то было иначе.

В этот раз тёмная фигура сделала шаг вперёд.

Она никогда раньше не двигалась. Ни разу за все годы. Обе фигуры всегда стояли неподвижно, на своих местах, справа и слева, и только звали. А теперь тёмный силуэт качнулся — и двинулся к ней. Медленно. Плавно. Пространство вокруг него темнело и расступалось, и с каждым шагом Элиза чувствовала, как нарастает тепло — то самое, тянущее, опасное, — и как медальон у неё на груди начинает нагреваться в ответ.

— Не бойся, — сказала тёмная фигура, и теперь голос звучал совсем близко, и в нём была не только тьма — было что-то ещё, почти нежность. — Я так долго тебя искал.

Ещё шаг. И ещё. Тьма приближалась, и Элиза уже почти могла разглядеть лицо — бледное пятно в темноте, острые скулы, и глаза — два серебряных отблеска, светящихся в темноте, как две луны в чёрной воде, —

— НЕТ! — вскрикнула светлая фигура.

И всё пространство вспыхнуло ярким светом.

Свет ударил отовсюду разом, ослепительный, ледяной, разрывающий, — и запах лилий сделался невыносимым, удушающим, — и Элиза почувствовала, как её рвут надвое,

как тепло тьмы и холод света сталкиваются прямо у неё в груди, в том месте, где лежал медальон, —
— и она проснулась.

Она села в постели, задыхаясь.

Темно. Комната Маргарет — теперь её комната — тонула во мраке, только в узкое окно сочился слабый, водянисто-серый свет: не то луна пробилась сквозь тучи, не то близился рассвет. Дождя уже не было. В доме стояла глухая, ватная тишина.

Сердце колотилось так, что отдавалось в ушах. Ночная сорочка прилипла к спине, влажная от пота. Элиза сидела, обхватив себя руками, и ждала, пока сон отпустит, пока комната вокруг снова станет настоящей, — она так делала всегда, всю жизнь, после этого сна.

Только в этот раз он не отпускал.

Обычно, проснувшись, она чувствовала облегчение — фигуры оставались там, во сне, а вокруг был реальный, скучный, безопасный мир. А сейчас... сейчас ей казалось, что тьма не осталась во сне. Что она пришла вместе с ней. Что тёмная фигура, сделавшая шаг, — не растворилась, когда Элиза открыла глаза, а притаилась где-то тут, в углу, за шкафом, в самой густой тени, и смотрит на неё двумя серебряными отблесками.

«Я так долго тебя искал».

Элиза сглотнула. Горло пересохло.

И тогда она впервые почувствовала.

Медальон.

Он был теплее обычного.

Тёплым — по-настоящему, ощутимо, будто она держала его над свечой, будто он вбирал жар не то из её тела, не то из чего-то ещё. Тёмное крыло грелось особенно сильно — Элиза чувствовала его сквозь тонкую ткань сорочки, маленькое пятнышко тепла точно между ключиц.

Дрожащей рукой она нащупала медальон, сжала в кулаке.

Горячо. Не обжигаяще — но горячо, живо, невозможно.

— Это ерунда, — прошептала она в темноту, и голос сорвался. — Металл нагрелся от тела. Пока я спала. Вот и всё. Это просто...

Что-то стукнуло.

Тихо. Отчётливо. Три раза. Внизу, в саду, под окном.

Элиза застыла, не дыша.

Тишина. Долгая. Такая, в которой слышно, как бежит собственная кровь в венах.

А потом — снова. Три стука. Не случайный звук осыпающейся ветки или падающего яблока — нет, в этом стуке был ритм, была воля. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Как будто кто-то стоял внизу, в тёмном саду, у самой стены дома, и постукивал — терпеливо, неспешно, — давая знать, что он здесь.

Что он ждёт.

Медальон в её кулаке стал ещё горячее.

Медленно, очень медленно, как во сне, Элиза откинула одеяло. Спустила босые ноги на холодный дощатый пол. Половица под ступнёй скрипнула, и она вздрогнула, замерла — но стук внизу не прекратился, не изменился, всё тот же ровный, терпеливый ритм.

Она поднялась. Прошла — три шага, четыре — к окну. Пол леденил ступни. Воздух в комнате был холодным, но лицо у Элизы горело, и медальон на груди горел, и во всём этом холодном, тёмном, спящем доме было только два тёплых пятна — её пылающее лицо и медальон у неё на груди.

Она подошла к окну. Взялась за холодную раму. И, задержав дыхание, посмотрела вниз, в сад.

Сад тонул в предрассветном сумраке — серый, размытый, чёрные скелеты клёнов, спутанные заросли, старая кованая скамья, покосившаяся у дорожки. Всё неподвижно. Всё мертво. Дождь оставил на траве и камнях блестящую плёнку влаги, в которой едва-едва отражалось мутное небо.

Никого.

В саду не было никого.

Элиза стояла у окна, вглядываясь в каждую тень, в каждый куст, в каждый чёрный провал между деревьями, — и не находила ничего. Пусто. Она уже почти позволила себе выдохнуть, почти убедила себя, что стук ей примерещился, что это ветер, ветка, старый дом, разыгравшееся после кошмара воображение, —

— когда заметила.

Внизу, прямо под её окном, на мокрой земле клумбы, куда не ступала ничья нога с тех пор, как они приехали, — были следы.

Отпечатки ботинок. Крупных. Чётких. Они шли от дальней стены сада — оттуда, из тьмы, от леса, — прямо к дому, к стене под её окном. И там останавливались. Двумя параллельными вмятинами в размокшей земле. Носками к дому.

Тот, кто их оставил, стоял здесь. Прямо под её окном. Но как он ушёл?

Следов, ведущих обратно, не было. Ни одного. Следы обрывались у стены, будто человек, стоявший под окном Элизы, не отступил в сад, не вернулся к лесу, а просто исчез. Растворился.

Медальон на груди пульсировал теплом — ровно, живо, в такт её колотящемуся сердцу.

И где-то далеко, в центре города, на холме, в тумане — глухо, гулко, торжественно — соборные часы начали бить. Элиза считала удары, не понимая, зачем считает, чувствуя только, как каждый из них отдаётся у неё под рёбрами.

Один. Два. Три.

Она стояла у окна, босая, дрожащая, сжимая горячий медальон в кулаке, и смотрела вниз, на следы, которые приходили — и не уходили.

Четыре. Пять.

Здесь что-то не так, — думала она, и мысль эта была

странно спокойной, странно ясной, как бывает ясно только в самые страшные минуты. Со мной что-то не так. С этим домом. С этим городом. С этим сном, который больше не сон.

Шесть.

Бабушка знала. Бабушка что-то знала — и оставила мне это.

Семь.

Она разжала кулак и посмотрела на медальон. Два крыла — светлое и тёмное — тускло блеснули. И между ними маленький камень, в котором — она могла бы поклясться — дрожал, разгораясь и угасая, слабый золотистый огонёк. Как будто внутри камня кто-то дышал.

Восемь. Девять.

«Я так долго тебя искал».

Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Часы смолкли.

Тишина накрыла дом, сад, город, лес — всё разом, ватная, глухая, ждущая тишина. И в этой тишине Элиза Грей, восемнадцати лет от роду, стояла у окна в чужой комнате, которая теперь была её комнатой, в чужом доме, который теперь был её домом, — и впервые в жизни отчётливо, всем существом, до дрожи в коленях понимала:

сон закончился.

Но что-то другое, более пугающее — только начиналось.

Она не стала ложиться. Просто села в старое кресло у окна — то самое, повёрнутое к саду и лесу, в котором, должно быть, сживала бабушка Маргарет длинными бессонными

ми ночами, глядя туда же, куда сейчас смотрела Элиза, — и подтянула колени к груди, и осталась так, сжимая тёплый медальон в ладони.

Внизу спала мать, которая ничего не знала или не хотела знать.

Наверху, в комнате мёртвой женщины, не спала её дочь, которая пока не знала ничего — но очень, очень скоро должна была узнать всё.

А за окном, в мокром саду, у самой стены дома, под затягивающимся туманом медленно расплывались, теряя очертания, два отпечатка ног.

Носками к дому.

Глава 2

Глава вторая. Дневник Маргарет

Утро не принесло облегчения.

Элиза так и просидела в кресле до тех пор, пока серый свет за окном не набрал силу, не сделался белёсым, плоским, будничным — тем самым дневным светом, при котором ночные страхи должны рассыпаться в прах и казаться глупыми. Она надеялась, что так и будет. Что стоит солнцу — пусть даже спрятанному за тучами — подняться повыше, и всё вчерашнее покажется ей чепухой: усталый разум, дорога, чужой дом, разыгравшееся воображение.

Но этого не случилось.

Потому что, когда рассвело окончательно, она снова пошла к окну и посмотрела вниз, в сад, — следы всё ещё были там.

Правда, теперь они почти расплылись. Ночной туман и утренняя сырость сгладили их края, размыли очертания, и то, что ночью было двумя чёткими отпечатками ботинок, теперь превратилось в две неопределённые вмятины в размокшей земле клумбы. Такие можно было списать на что угодно. На осевший грунт. На животное. На собственное воображение. Элиза приняла решение не думать об этом, сфокусироваться на домашних хлопотах.

Она оделась — натянула джинсы и толстый свитер, пото-

му что в доме было по-настоящему холодно, — и заплела ещё влажные после душа волосы. Медальон снимать не стала. За ночь он остыл, вернулся к обычной серебряной прохладе, и теперь висел у неё на груди тихий, безобидный, будто и не пылал несколько часов назад так, что она чувствовала его сквозь ткань. Элиза несколько раз ловила себя на том, что сжимает его в кулаке — просто чтобы убедиться. Прохладный. Прохладный. Обычный.

Спустившись, она застала мать на кухне. Хелен уже успела разобрать часть коробок — на столе стояли их старые чашки, привезённый из города чайник, — и теперь она мыла пыльную посуду, найденную в буфете. Спина у неё была напряжённая, движения резкие. Она не обернулась, когда Элиза вошла.

— Доброе утро, — сказала Элиза.

— Доброе. — Хелен поставила тарелку на сушилку громче необходимого. — Чайник вскипел. Чай в синей коробке. Хлеб есть, но масла нет, забыла купить. Сегодня съездим в город, посмотрим, где тут магазины. И заодно нужно разузнать про колледж.

— Мам.

— Что?

— Ты хорошо спала?

Хелен наконец обернулась. Под глазами у неё залегли тёмные тени, а лицо было бледным, помятым — лицо человека, который не спал несколько суток.

— Как убитая, — сказала она. И отвернулась обратно к раковине.

Она лгала. Элиза видела, что лжёт. Но не стала дальше расспрашивать — что толку. Вместо этого налила себе чаю, села за стол и обхватила чашку ладонями, грея озябшие пальцы.

— Ночью в саду кто-то был, — сказала она.

Плеск воды прекратился.

— Что?

— В саду. Под моим окном. Ночью. Я слышала... стук. Как будто кто-то стоял внизу и стучал по стене. Там до сих пор видно следы от ботинок, не так чётко, как ночью, но разобрать можно. Они идут от леса к дому и обрываются под окном.

Хелен медленно повернулась. Лицо у неё было странное — не испуганное, а какое-то застывшее, будто она заранее готовила его к тому, что услышит.

— Тебе приснилось, — сказала она.

— Я не спала, когда слышала стук.

— Тебе приснилось, — повторила Хелен, чуть громче, чуть твёрже, будто, повторив дважды, могла сделать это правдой. — Ты вчера перенервничала. Новое место, дорога, все эти... — она махнула рукой в сторону гостиной, где на стенах висели портреты. — Всё это. Тебе приснился сон, ты проснулась, и тебе почудилось. А следы — это осел грунт после дождя. Или зверь какой-нибудь. Тут лес рядом, лисы

бегают, олени. Мало ли.

— Олень в ботинках, — тихо улыбнулась Элиза, отхлебнув чай.

Хелен было не до смеха.

— Не начинай, — сказала она тихо. — Прошу. Не начинай!

— Что не начинать?

— Это. — Мать смотрела на неё, и в глазах у неё было что-то, чего Элиза раньше почти никогда не видела. Страх. Настоящий, глубокий страх — тот самый, что глядел с фотографии Маргарет со стены гостиной. — Не начинай видеть то, чего нет. Не начинай слышать голоса и находить знаки. Не начинай, как... — Она осеклась.

— Как кто?

Хелен отвернулась к раковине. Её руки задрожали.

— Ни как кто, — сказала она. — Ешь и собирайся. Едем в город.

Разговор был окончен — так же, как обрывались все разговоры, стоило Элизе подойти слишком близко к чему-то, чего мать не желала касаться. Только на этот раз Элиза слышала недоговорённое слово так ясно, будто мать всё же произнесла его вслух.

Как она.

Как Маргарет.

Поездка в город заняла половину дня.

Рейвенхолл при свете дня оказался не приветливее, чем накануне под дождём. Те же тесные каменные улицы, те же высокие узкие дома, те же немногочисленные прохожие, которые провожали чужую машину внимательными, недобрыми взглядами и тут же отворачивались, стоило встретиться глазами. Хелен нашла продуктовую лавку, заправку, аптеку. Отыскала здание городского совета, где ей выдали какие-то бумаги по дому и объяснили, что колледж — единственный на весь Рейвенхолл — находится на восточной стороне, у подножия соборного холма, и что учебный год уже начался две недели назад, но новеньких берут, мест хватает, желающих учиться в этом колледже немного.

Всё это Элиза слушала вполуха. Она смотрела в окно на собор, который был виден почти отовсюду — две его острые башни торчали над крышами, куда ни поверни. Она не могла перестать думать о следах. О медальоне. О тёмной фигуре во сне, которая впервые за всю её жизнь сделала шаг ближе.

«Я так долго тебя искал».

К дому они вернулись, когда уже начинало смеркаться — осенью темнело рано. Пока Хелен разбирала покупки на кухне, Элиза поднялась к себе. Ей не сиделось на месте, не читалось, не думалось ни о чём другом. Мысли всё возвращались и возвращались к одному: бабушка знала. Мать боялась стать «как она» — значит, было чего бояться, значит, была причина, значит, Маргарет что-то видела, что-то знала, о

чём-то предупреждала — и её сочли безумной.

А теперь Элиза жила в её комнате, спала в её постели, носила её медальон и видела то, чего быть не должно.

Если бабушка что-то знала — она должна была это где-то записать.

Старые люди всегда такое записывают.

Элиза начала с книжных полок.

Их было много — целая стена, от пола до потолка, забитая томами так плотно, что некоторые пришлось буквально выдирать из ряда. Она снимала книги по одной, пролистывала, ставила обратно. Это была странная библиотека. Тут были обычные книги — романы, поэзия, справочники по садоводству, — но между ними, вперемишку, попадалось совсем другое. Старые тома в потрескавшихся кожаных переплётах без названий на корешках. Книги на латыни, на греческом, на языках, которых Элиза не узнавала. Трактаты о мифологии. О демонологии. О ангелологии — Элиза не знала прежде, что есть и такое слово. Толстая книга под названием «О природе падших» с гравюрой на обложке: крылатая фигура, летящая вниз головой, объятая пламенем.

У Элизы похолодели пальцы.

Она вытащила эту книгу — тяжёлую, пыльную — и раскрыла наугад. Страницы были испещрены плотным готическим шрифтом, и большую часть текста она не понимала, но

на полях, повсюду, — карандашом, ручкой, местами почти неразборчиво — были пометки. Чей-то торопливый, острый почерк. Тот же почерк, что на открытках, которые бабушка присылала ей все эти годы.

Бабушка не просто читала эти книги из интереса.

Бабушка их изучала.

Элиза листала страницу за страницей, всматриваясь в пометки. «Не верно», — было написано на одном из полей. «Врут», — на другом. «Так говорят Они, но это ложь» — с подчёркнутым дважды «Они». И на самой последней странице, размашисто, поперёк текста, отчаянно, будто в спешке:

«ОБА ЛГУТ. Свет лжёт красиво. Тьма лжёт сладко. Не верь ни одному».

Она поставила книгу на место — руки слегка дрожали — и стала искать дальше. Быстрее. Лихорадочнее. Она уже не сомневалась: где-то здесь, в этой комнате, есть что-то ещё.. Что-то своё. Личное. То, куда женщина, изучавшая природу падших ангелов и лжи света, записывала собственные мысли. Возможно дневник.

Люди, которые так много пишут на полях чужих книг, обязательно ведут свои записи.

Она нашла его не сразу.

Его не было ни на полках, ни в ящиках туалетного столика — там она уже смотрела вчера, там лежали расчёски,

письма, лекарства. Не было его и в шкафу, среди пахнущей нафталином одежды, и в сундуке у изножья кровати, набитом старым бельём. Элиза обшарила всё — и уже начинала думать, что ошиблась.

А потом на глаза попалось кресло.

Старое кресло у окна — то самое, повёрнутое к саду, в котором Элиза просидела всю прошлую ночь. Кресло, в котором любят сидеть в бессонницу. Из которого удобно смотреть на лес. Возле которого удобно держать под рукой то, что читаешь или пишешь по ночам.

Элиза опустилась на колени рядом с креслом и заглянула под него. Ничего — только пыль и старый плед, сползший на пол. Она ощупала обивку сиденья, спинки, подлокотники — и под правым подлокотником, там, где ткань была вытерта до основы множеством лежавших тут локтей, пальцы её нащупали что-то твёрдое.

На обивке явно был разрез. Аккуратный, зашитый заново — но грубыми, крупными стежками, будто наспех. Элиза подцепила нитку ногтем, потянула — стежки разошлись легко, будто их и делали для того, чтобы легко распустить, — и запустила руку внутрь, между обивкой и деревянным каркасом.

Пальцы сомкнулись на переплёте.

Она вытащила его. Медленно. Осторожно.

Да, это кажется он. Дневник Маргарет.

Он был небольшим — с ладонь величиной, — в потёр-

том кожаном переплёте цвета запёкшейся крови, перехваченном тонким кожаным ремешком с потускневшей латунной застёжкой. От него слабо, едва различимо, пахло лилиями.

Элиза села прямо на пол, прислонившись спиной к креслу, и расстегнула застёжку.

На первой странице только одна фраза, выведенная тем же острым, торопливым почерком, крупно, поперёк листа:

«Если ты читаешь это, значит, я не смогла тебя уберечь. Прости меня. И слушай.»

У Элизы перехватило дыхание.

Она перевернула страницу.

«Меня зовут Маргарет Грей, и я, скорее всего, уже мертва к тому времени, как ты держишь это в руках.

Я не знаю, кто ты. Может, ты моя дочь, Хелен, — хотя молю, чтобы это была не она. А может, ты моя внучка. У нас в роду всегда рождаются дочери. Всегда одна. Одна дочь на каждое поколение — потому что цепь не должна прерываться и не должна ветвиться. Так они устроили.

Если ты моя внучка — тогда здравствуй, дитя. Мне жаль, что мы не успели поговорить при жизни.

Позволь рассказать тебе, кто ты такая.»

Элиза сглотнула. В комнате стемнело — за окном догорали последние минуты серого дня, — но она не стала зажигать

свет. Она сидела на полу, подтянув колени, и читала дальше, поднося дневник всё ближе к глазам.

«В нашем роду, роду Грей, женщины несут то, что я называю бременем. Когда-то, очень давно — так давно, что я не смогла отыскать начало, сколько ни искала, — в нашу кровь вошло нечто. Не человеческое. Я долго не понимала, что именно. Теперь думаю, что понимаю, но об этом позже, если у меня хватит смелости написать.

Из-за этого мы не обычные люди. Каждая женщина нашего рода стоит на грани. На границе между двумя мирами, двумя силами — светом и тьмой. Не тем светом и той тьмой, что ты знаешь. Не добром и злом, как учат в книжках и церкви. А чем-то куда более древним и куда более голым.

Мы для них — как дверь. Как замок, к которому у каждого свой ключ. Тот, кто завладеет носительницей — так я нас называю, носительницами, — тот сместит равновесие в свою сторону. Тьма победит свет. Или свет победит тьму. Не знаю, что из этого хуже. Я долго думала и решила, что одинаково плохо.

Поэтому они приходят. К каждой из нас. Всегда двое.»

Элиза застыла.

Всегда двое.

Она подняла глаза от страницы — к стене, где в сумраке едва угадывались силуэты портретов. Женщины рода Грей смотрели на неё из темноты. Все с одним медальоном на шее.

Все с одинаковыми серьёзными, знающими глазами.

Она вернулась к дневнику.

«Один придёт со стороны света. Он будет прекрасен. Он будет добр. Терпелив. Он станет тебя защищать, поддерживать, он войдёт в твою жизнь тихо и незаметно и станет тебе другом раньше, чем ты поймёшь, кто он такой. Он будет говорить тебе о свете, о чистоте, о покое, о том, что рядом с ним ты будешь в безопасности. И худшее в нём то, что он, возможно, даже не будет лгать нарочно. Он сам верит в то, что говорит. Так они опаснее всего — те, кто верит в собственную ложь.

Другой придёт со стороны тьмы. Он будет пугать тебя — и притягивать. Одновременно. Так, что ты сама себя не узнаешь. Он будет говорить, что свет — это тюрьма, а тьма — свобода. Он будет приводить примеры — и, дитя моё, самое страшное, что примеры его будут правдой. Он покажет тебе, сколько зла свет причинил людям, и не солжёт ни в одном слове, — а потом, на этой правде, как на фундаменте, построит свою ложь. Что тьма лучше. Что тьма тебя не предаст. Что во тьме ты будешь свободна. Это ложь. Тьма не освобождает. Тьма поглощает.

Оба будут звать тебя по имени. Оба будут говорить, что искали тебя. Оба будут обещать. И вот что ты должна запомнить, лучше всего остального, что я тебе скажу:
ОБА ЛГУТ.

Свет лжёт красиво. Тьма лжёт сладко. Не верь ни одно-

ми.»

Медальон на груди Элизы дрогнул.

Она не была уверена — может, ей почудилось, может, это она сама шевельнулась, — но ей показалось, что тёмное крыло на миг потеплело. Совсем чуть-чуть. Как будто отозвалось на прочитанные слова. Как будто слушало вместе с ней.

Элиза прижала ладонь к медальону и заставила себя читать дальше. В комнате стало совсем темно. Но встать и включить свет означало бы прервать это, оторваться, вынырнуть на поверхность, — а она не могла. Не сейчас.

«Как узнать, кто перед тобой? Свет и тьма умеют притворяться людьми лучше, чем сами люди. Но у тебя есть медальон.

Если ты моя внучка и всё сложилось так, как я задумала, — он сейчас на тебе. Я оставила его там, где ты точно его найдёшь. Не могла отдать в руки — за такими вещами следят. Но спрятать так, чтобы нашла именно ты, — надеюсь сумела.

Медальон — не украшение. Это единственная честная вещь во всей этой истории. Он достался нам вместе с бременем и служит нам вместо глаз. Он не умеет лгать — в отличие от них.

Запомни, дитя: медальон холодеет рядом со светом и теплеет рядом с тьмой.

Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Всё должно быть наоборот, верно? Свет — тепло, тьма — холод. Так тебя учили. Так думают все. Но это первая и главная их уловка, дитя, самая старая и самая коварная: они перевернули всё с ног на голову ещё до того, как ты родилась. Свет, что зовёт нас, — холоден. В нём нет тепла, есть только сияние, чистое и пустое, как лёд. А тьма — тепла. Она манит теплом, как костёр манит замёрзшего путника. И оттого она страшнее света. Так что не верь тому, что чувствуешь.

А теперь — самое трудное. То, ради чего я всё это пишу.»

Элиза перевернула страницу.

Почерк здесь менялся. До этого он был торопливым, но твёрдым, — а тут строчки поехали, задрожали, буквы стали крупнее, неровные, будто рука, что их выводила, дрожала, будто женщина писала это в другой день, в другом состоянии, — на грани.

«Ты, наверное, думаешь: раз оба лгут, раз оба хотят завладеть мной, — что же мне делать? Как быть? Кого выбирать?»

Не выбирай.

Ни одного. Никогда. Слышишь меня, дитя? Это самое важное, что я тебе скажу. Не выбирай ни свет, ни тьму. Потому что выбор — это и есть их ловушка. Стоит тебе шагнуть в одну сторону — и всё кончено. Равновесие сместится, и мир так или иначе заплатит за это, и ты заплатишь первой.

Большинство, кто был до тебя, выбирали. Женщины на этих портретах, что смотрят на тебя со стен. Твоя прабабка. Её мать. И их матери. Кто-то выбрал свет, кто-то тьму — я не знаю, кто именно, записи обрываются, — но каждая, кто выбрала, погибла. Страшно. Потому что тот, кого выбирают, забирает всё. Забирает душу. А тот, кого отвергают, мстит.

А те, у кого хватило сил не выбрать вовсе, — те, кто понял ловушку, — те находили только один выход.

Они уходили сами.

Не могу написать это иначе, дитя. Не буду щадить тебя, потому что правда важнее. Наши женщины — те немногие, самые сильные, кто разгадал игру и отказался в неё играть, — обрывали свою жизнь сами. Своей рукой. Чтобы не отдать душу ни свету, ни тьме. Чтобы разорвать цепь хотя бы на одном звене. Чтобы ни один из них не получил того, за чем пришёл.

Я не хочу для тебя такой судьбы. Слышишь? Не хочу. Я потратила всю жизнь — всю, до последнего дня, — на то, чтобы найти третий путь. Способ не выбрать и не умереть. Разорвать бремя, снять его с нас навсегда, чтобы ты — или та, что придёт после тебя, — была свободна. Просто человек. Просто девочка, которой снятся обычные сны.

Я думаю, я почти нашла. Я подошла близко. Ближе, чем кто-либо из нас за все века.

Но у меня заканчивается время. Я чувствую. Оно прибли-

жается — не они, свет и тьма, а нечто иное, третье, о чём я боюсь даже писать, потому что имена имеют власть, а у этого нет имени, оно старше имён, старше света и тьмы, старше всего. Оно спит. Но оно просыпается. И когда оно проснётся до конца — оно придёт за тобой. За носительницей. Потому что в нас, дитя, есть кое-что ещё. Что-то, чего боятся даже свет и тьма.

Я не успею дописать. Ты найдёшь остальное — я оставила знаки, ты поймёшь, если ты моя внучка и в тебе есть хоть капля меня. Ищи. Не верь ни свету, ни тьме. Не выбирай. И, во имя всего, что ещё свято в этом перевёрнутом мире, —

не снимай медальон.

Он всё, что у тебя есть.

Я люблю тебя, дитя, которую никогда не держала на руках. Помни, что я тебя люблю.

М.»

На этом запись обрывалась.

Дальше — Элиза перелистнула, потом ещё, и ещё, лихорадочно, — дальше страницы были пусты. Ни слова. Ни знака. Только чистая бумага, слегка пожелтевшая от времени, и слабый запах лилий, поднимавшийся от неё в темноте.

Элиза сидела на полу совершенно неподвижно.

В комнате было уже темно — за окном давно сгустилась ночь, и различала она страницы только потому, что глаза привыкли, да ещё оттого, что в узкое окно сочился всё тот

же водянистый свет невидимой луны. Дневник лежал у неё на коленях, раскрытый на последней исписанной странице.

«Помни, что я тебя люблю. М.»

Те же слова. Слово в слово. Что были на всех открытках, которые бабушка присылала ей все восемнадцать лет — коротких, странных, которые мать убирала в ящик, не читая вслух. *«Помни, что я тебя люблю. М.»*

Всё это время. Всё это время бабушка не просто помнила о ней. Бабушка звала её. Через сотни миль, через молчание матери, через все эти годы — короткой фразой на открытке, единственным, что ей позволяли, единственным, что могло пробиться, — она повторяла и повторяла одно и то же, надеясь, что Элиза когда-нибудь услышит.

Помни. Помни. Помни, что я тебя люблю.

Помни — потому что я тебя защищаю.

Помни — потому что я приду к тебе на помощь, даже после смерти, пусть со страниц дневника, спрятанного в старом кресле.

Помни.

Элиза почувствовала, как что-то горячее скатилось по щеке, и с удивлением поняла, что плачет — беззвучно, не всхлипывая, слёзы просто текли сами, — по женщине, которую она не знала, не помнила, никогда не видела; по женщине, которая любила её издалека всю её жизнь и умерла, так и не сумев обнять; по женщине, которая потратила всю свою жизнь, чтобы её, Элизу, спасти от чего-то, во что Элиза ещё

вчера ни за что бы не поверила.

Но она кажется поверила теперь.

Она не могла бы объяснить почему — ни один разумный человек не поверил бы в такое, прочитав тетрадь безумной старухи, и мать, конечно, назвала бы всё это бредом. Но Элиза чувствовала правду в каждом слове. Сон, который снился ей всю жизнь. Двое, зовущие по имени. Запах лилий. Холодный свет и тёплая тьма — то самое, что она ощутила во сне прошлой ночью и не смогла понять: почему всё наоборот. А вот почему. Бабушка всё объяснила. Медальон холодеет рядом со светом и теплеет рядом с тьмой.

Прошлой ночью он был горячим.

Значит, тот, кто стоял под её окном в саду и оставил следы, что приходили — и не уходили...

Элиза медленно подняла руку и сжала медальон в кулаке. ...был тьмой.

«Я так долго тебя искал».

— Началось, — прошептала она в темноту — точь-в-точь как мать вчера, на границе города, под первыми каплями дождя. А Элиза теперь знала, про что на самом деле говорила мама.

Она не слышала, как открылась дверь.

Мать всегда ходила тихо — привычка человека, который прожил жизнь, стараясь не привлекать внимания, — и Эли-

за, оглушённая прочитанным, погружённая в темноту и в собственные мысли, заметила её, только когда под потолком вспыхнул свет.

Резкий, жёлтый, режущий глаза после долгого мрака.

Элиза вздрогнула, зажмурилась, вскинула руку к лицу. А когда проморгалась — Хелен стояла в дверях, держась за выключатель, и смотрела на неё. На дочь, сидящую на полу у кресла, с заплаканным лицом, с раскрытой тетрадью на коленях.

Лицо матери менялось на глазах. Сначала — недоумение: почему ты сидишь на полу в темноте, почему плачешь. Потом — узнавание: взгляд её упал на дневник, на потёртый кожаный переплёт цвета запёкшейся крови, — и она узнала его, Элиза видела, что узнала. И тогда лицо Хелен сделалось таким, каким Элиза не видела его никогда: белым, застывшим, — и в глазах вспыхнул уже не тот тлеющий страх, что был утром, а самый настоящий ужас.

— Где ты это взяла, — сказала Хелен.

Ровный, мёртвый голос.

— В кресле, — ответила Элиза. — Он был зашит в обивку. Мам, это дневник бабушки, тут...

— Отдай.

Хелен уже шла к ней — быстро, через всю комнату, — и протягивала руку. Ладонь у неё дрожала.

— Мам, подожди. — Элиза инстинктивно прижала дневник к груди, отодвинулась, вставая на ноги. — Ты не пони-

маешь. Ты не читала. Тут всё написано — про наш род, про то, что с нами, про то, почему мне снятся эти сны, про медальон, про то, что...

— Отдай мне тетрадь, Элиза. — Голос матери поднялся, надломился. — Немедленно. Слышишь? Отдай сейчас же.

— Нет! — Элиза сама испугалась того, как это прозвучало — громко, резко, — Нет. Это она оставила мне. Мне, не тебе, она так и пишет — «если ты моя внучка». Это моё, мам. Она хотела, чтобы я это прочла.

Хелен остановилась. В шаге от неё. Тяжело дыша.

Несколько секунд они стояли лицом к лицу — мать и дочь, — и портреты со стен смотрели на них. И Элиза с ужасающей ясностью увидела, до чего мать похожа сейчас на женщину с крайнего портрета. На Маргарет. То же бледное лицо. Те же тёмные тени под глазами. Тот же страх.

Только у Маргарет за страхом было знание.

А у матери за страхом было — отрицание. И это, поняла вдруг Элиза, было куда хуже.

— Она была больна, — сказала Хелен наконец. Тихо. С трудом выдавливая каждое слово. — Ты понимаешь? Моя мать была больна. Здесь. — Она коснулась пальцем виска. — Всю жизнь. Сколько я себя помню. Она не спала по ночам — сидела вот в этом кресле и смотрела в сад, потому что ей чудилось, что там кто-то есть. Она завешивала зеркала. Заставляла меня носить эту дрянь, — она резко указала на медальон на груди Элизы, и голос её сорвался, — эту дрянь, не

снимая, днём и ночью, а если я снимала — плакала и умоляла надеть обратно, говорила, что без него меня заберут. Она видела ангелов и демонов в каждом человеке. Она разговаривала с теми, кого не было. Она писала — вот это, — Хелен ткнула дрожащим пальцем в дневник, — эти безумные тетради, целыми ночами, страницу за страницей, о свете и тьме, о том, что придут какие-то двое, о том, что весь мир держится на нас, женщинах Грей, и что мы должны либо не выбирать, либо...

Она осеклась.

— Либо что? — тихо спросила Элиза.

Хелен закрыла глаза.

— Либо умереть, — сказала она едва слышно. — Она говорила мне это. Своей десятилетней дочери. Она садилась на край моей кровати ночью, гладила меня по голове и говорила: «Когда придёт время, доченька, и они позовут тебя, — а они позовут, — не иди ни к одному. А если не сможешь устоять, если почувствуешь, что вот-вот шагнёшь, — то лучше уйди сама, слышишь? Лучше уйди сама, чем достаться им».

В комнате повисла страшная тишина.

— Десять лет, — повторила Хелен, и голос у неё дрожал так, что слова едва держались. — Мне было десять. И моя мать, единственная, кто у меня был, ласково, как сказку на ночь, объясняла мне, почему мне, может быть, придётся себя убить. — Она открыла глаза. — И ты хочешь, чтобы я пове-

рила в это? Хочешь, чтобы я позволила тебе в это поверить? Я убежала отсюда, как только смогла. Ночью, с одной сумкой. Убежала от неё, от этого дома, от этих проклятых портретов и медальонов и снов — за сотни миль, чтобы ты росла нормально. Чтобы тебе снились нормальные сны. Чтобы ты не знала ничего этого. И я думала — думала, что уберегла тебя. А теперь я привезла тебя обратно. Своими руками. Потому что мне некуда было больше идти. И ты уже говоришь про следы под окном, про голоса, про сны, ты сидишь на полу в темноте с её тетрадью и плачешь, и я смотрю на тебя — и вижу её. Вижу свою мать.

Она протянула руку — теперь уже не требовательно, а почти умоляюще.

— Отдай мне тетрадь, Элиза. Пожалуйста. Не ради меня. Ради себя. Не пускай это в себя. Это яд. Это было ядом для неё, это отравило всю мою жизнь, — не дай ему отравить и твою. Отдай, и мы её сожжём, вместе, прямо сейчас, и завтра ты пойдёшь в этот дурацкий колледж, и найдёшь друзей, и будешь просто девочкой, а через год мы продадим этот дом кому-нибудь и уедем и забудем, что вообще сюда возвращались. Пожалуйста. Пожалуйста, доченька.

Элиза смотрела на протянутую руку матери.

И впервые в жизни ей было по-настоящему жаль её — эту усталую, испуганную женщину, которая в десять лет получила от собственной матери проклятие вместо детства и потратила всю жизнь на то, чтобы убежать; которая любила Элизу

единственным доступным ей способом — отрицанием, молчанием, бегством; которая только что раскрыла перед ней всю свою боль, всё, что прятала восемнадцать лет, — и всё это для того, чтобы её спасти.

Мать хотела спасти её.

И бабушка хотела спасти её.

Обе. Каждая по-своему. И их способы были противоположны: одна — знанием, другая — незнанием; одна велела помнить, другая умоляла забыть. И теперь они обе тянули Элизу в разные стороны — мёртвая со страниц дневника и живая, стоящая перед ней с протянутой дрожащей рукой, — и Элиза стояла между ними, зажав тетрадь в руках, ровно так же, как во сне стояла между светом и тьмой.

Всегда двое. Всегда с двух сторон.

Не выбирай, — сказала бабушка.

Но здесь и сейчас не выбрать было нельзя.

— Мам, — сказала Элиза тихо, и голос у неё был спокойнее, чем она ожидала. — Прошлой ночью в саду были следы. Настоящие. Я их видела. Утром ты сказала — олень, грунт осел. Но ты не выходила посмотреть. Ты даже не подошла к окну. Почему?

Хелен молчала.

— Ты не подошла к окну, — продолжала Элиза, — потому что ты боялась увидеть, что они там действительно есть. Ты всю жизнь боишься смотреть в окно.

— Не смей, — прошептала мать.

— Я не собираюсь себя убивать, — сказала Элиза. — Слышишь? Никогда. Обещаю тебе. Что бы там ни было написано — этого не будет. Но и забыть я не могу. Я уже видела следы, мам. Я уже слышала голоса — всю жизнь, во сне. Медальон грелся у меня в руке этой ночью, я не выдумываю, он был горячий. Я не могу сделать вид, что этого нет, только потому, что тебе так легче. Я не буду завешивать зеркала и сидеть в темноте, как она. Но я и не стану притворяться слепой, как ты. Я хочу знать правду. Какой бы она ни была. Потому что если бабушка была права хоть в чём-то — а я думаю, что была, — то незнание меня не спасёт. Оно меня погубит.

Хелен опустила руку.

Медленно. Будто из неё разом вышли все силы. Она стояла посреди залитой жёлтым светом комнаты, среди портретов своих мёртвых прабабок, в доме, из которого сбежала полжизни назад и в который вернулась, — и смотрела на свою дочь так, будто уже потеряла её. Будто уже видела на её лице ту же печать, что несли все женщины на этих стенах.

— Она тоже так говорила, — сказала Хелен глухо. — «Я хочу знать правду». Точно так же. Слово в слово. — Она отвернулась, пошла к двери. У порога остановилась, но не обернулась. — Оставь себе тетрадь, — сказала она в дверной проём, в темноту коридора. — Всё равно ведь не отдашь. Ты такая же упрямая, как она. — Пауза. Потом, совсем тихо: — Спокойной ночи, Элиза.

И ушла.

Элиза слышала, как её шаги удаляются по коридору — тихие, привычно тихие, — как спускаются по скрипучей лестнице, как затихают внизу. Хлопнула дверь спальни за кухней. И снова наступила тишина — та самая ватная, глухая тишина старого дома, в которой слышно, как капает вода и поскрипывают половицы, остывая на ночь.

Она осталась одна.

Элиза постояла ещё немного посреди комнаты, прижимая дневник к груди. Потом подошла к окну — и посмотрела вниз, в тёмный сад.

Ничего. Чёрные скелеты клёнов. Покосившаяся скамья. Мокрая земля клумбы, на которой уже не разобрать было прежних следов.

Но она знала, что они там были.

И знала, что это придёт снова.

Элиза задёрнула штору — впервые за эти два дня. Не потому, что боялась. А потому, что решила: она будет смотреть в это окно тогда, когда захочет сама, а не когда её позовут. Потом села в кресло, включила лампу на столике, поджала ноги и снова раскрыла дневник на первой странице.

«Если ты читаешь это, значит, я не смогла тебя уберечь. Прости меня. И слушай.»

— Я слушаю, — сказала Элиза тихо, вслух, женщине с портрета, женщине из строчек, женщине, которая любила её всю её жизнь через сотни миль и восемнадцать лет молчания. — Слушаю, бабушка. Расскажи мне всё.

Медальон у неё на груди был тёплым.
Совсем чуть-чуть.

Глава 3

Глава третья. Колледж Рейвенхолла

Ночь Элиза почти не спала.

Она читала. Дневник был невелик — исписанных страниц едва набиралось на треть тетради, — но она возвращалась к ним снова и снова, перечитывала одни и те же строки, пока не выучила их наизусть, пока голос мёртвой бабушки не начал звучать у неё в голове так отчётливо, будто Маргарет сидела рядом, в темноте, и шептала всё это ей на ухо. К рассвету Элиза знала главное так же твёрдо, как собственное имя.

Всегда двое.

Медальон холодеет рядом со светом. Теплеет рядом с тьмой.

Оба лгут. Не выбирай ни одного.

Она заснула только под утро, сидя в кресле, с дневником на коленях и, впервые за долгое время, ей ничего не снилось. Ни лилий, ни белого пространства, ни двух фигур. Пустой, чёрный, глубокий сон без сновидений, будто кто-то милосердно опустил над ней занавес.

— Вставай, — сказала Хелен, стоя в дверях. Голос у неё был ровный, деловой — голос человека, который решил вести себя так, будто вчерашнего разговора не было вовсе. — Уже девятый час. Тебе к десяти в колледж, я вчера обо всём договорилась. Опоздать в первый же день — не очень хоро-

шее начало.

Элиза с трудом приоткрыла глаза. Тело затекло от ночи в кресле. Дневник она инстинктивно прикрыла ладонью, но Хелен даже не взглянула на него. Не хотела видеть. Держала взгляд строго на лице дочери, будто тетради в её руках не существовало.

— Я встаю, — сказала Элиза.

— Завтрак на столе. — Мать помедлила на пороге. Потом добавила, чуть тише, уже другим голосом: — Медальон надень под свитер, чтобы он не был на виду. Здесь и так не любят чужаков. И не любят странностей. Не давай лишнего повода.

И ушла, не дожидаясь ответа.

Элиза посмотрела ей вслед. *Надень под свитер.* Не «сни-ми». Маленькая уступка. Маленькое поражение матери в её вечной войне с отрицанием. Хелен не могла заставить себя поверить в дневник, но и запретить дочери носить медальон больше не могла.

Элиза заправила серебряную цепочку под воротник свитера. Холодный металл лёг на кожу между ключицами — там, где две ночи назад пылало тёмное крыло.

Сейчас он был просто прохладным.

Значит, рядом никого нет, — подумала она. — *Ни света, ни тьмы. Уже не плохое начало дня.*

Она ещё не знала, что уже сегодня медальон заговорит с ней впервые не теплом, а холодом.

Колледж Рейвенхолла оказался мрачным трёхэтажным зданием из тёмного камня у самого подножия соборного холма — таким старым, что казался вырубленным из той же породы, что и скала под ним. Узкие стрельчатые окна. Плющ, карабкающийся по стенам, наполовину облетевший к осени, так что здание будто затянуло сетью чёрных вен. Над входом — выщербленный каменный герб, разобрать который было уже невозможно.

Хелен высадила её у ворот.

— Я заберу тебя в четыре, — сказала она. — Стой здесь, у ворот, не броди по городу. И... — она хотела добавить что-то ещё, Элиза видела, — но передумала. — Удачи, — сказала просто.

— Спасибо, мам.

Машина уехала. Элиза осталась одна перед воротами, в потоке студентов, что стекались к дверям, — и сразу почувствовала на себе взгляды. Мать была права: чужаков тут замечали мгновенно. Рейвенхолл был из тех городов, где все знают всех, где каждое лицо примелькалось с детства, — и новое лицо среди старых было как трещина на знакомом стекле. На неё смотрели. Не враждебно — с любопытством, оценивающе, немного настороженно. Перешёптывались. «Это она? Из дома Грей? Внучка старой Маргарет, той самой?..»

Элиза расправила плечи и пошла к дверям, глядя прямо перед собой.

Внутри было ещё сумрачнее, чем снаружи. Высокие сводчатые потолки, каменные полы, вытертые тысячами ног за столетия, узкие коридоры, тускло освещённые лампами, которые не справлялись с полумраком. Пахло старым камнем, мелом, воском и чем-то ещё — сыростью, древностью, временем. Элиза отыскала кабинет администрации, отдала бумаги, получила расписание и номер шкафчика, и её отправили в аудиторию на втором этаже, где уже началось первое занятие.

Она приоткрыла тяжёлую дверь. Скрипнули петли. Полтора десятка лиц разом повернулись к ней.

— А, новенькая, — сказал пожилой преподаватель у доски немного устало. — Проходите, садитесь. Свободных мест хватает.

Свободных мест и правда хватало — аудитория была заполнена едва наполовину. Элиза скользнула взглядом по рядам, чувствуя на себе всеобщее внимание, и торопливо направилась к ближайшему пустому стулу — у окна.

— Сюда, — раздался вдруг тихий голос сбоку. — Тут свободно. И отсюда доску лучше видно.

Элиза обернулась.

Девушка, сидевшая через проход, чуть подвинулась, освобождая соседнее место, и смотрела на Элизу с открытой, чуть насмешливой улыбкой. Она была невысокой, с копной

непослушных тёмных кудрей, стянутых кое-как, с россыпью веснушек на носу и живыми, тёплыми карими глазами, в которых плясали искорки. В ней не было ни настороженности, ни оценивающего холодка — только простое, искреннее любопытство и дружелюбие, каких Элиза не встретила больше ни у кого в этом городе.

— Спасибо, — сказала Элиза и села рядом.

— Нора, — шепнула девушка, протягивая руку прямо под партой, чтобы не заметил преподаватель. — Нора Финч. А ты — та самая внучка Маргарет Грей, да? Весь город уже гудит. У нас тут новые люди в городе — это событие редкое, так что ты теперь звезда, поздравляю.

Элиза пожала её ладонь — тёплую, хрупкую.

— Элиза, — сказала она. — Элиза Грей. И, кажется, я не рада быть звездой.

Нора тихо фыркнула.

— Никто не рад. Привыкнешь. — Она наклонилась ближе. — Слушай, если что — держись меня. Я тут знаю всё и всех. Кто нормальный, кого стоит обходить, где нормально кормят, а где отравишься. Считай, тебе повезло, что села рядом со мной. — Она подмигнула. — А теперь делай умное лицо, старик Прис не любит, когда болтают.

Элиза послушно уставилась в доску, но внутри у неё что-то отпустило — впервые с тех пор, как они въехали в этот город. Нора ей понравилась сразу, безоговорочно, той мгновенной симпатией, что возникает так редко и так безошибоч-

но. Впервые за эти дни рядом оказался кто-то простой, тёплый, живой. Кто-то, от кого не тянуло ни холодом, ни тьмой. Кто-то настоящий.

Медальон под свитером молчал — тихий, прохладный, обычный.

Первые два часа прошли спокойно.

Элиза почти забыла обо всём произошедшем в последние пару дней, смогла хоть ненадолго отключиться от страха и тревоги. Нора шёпотом комментировала происходящее, тихо острила, рисовала на полях её тетради карикатуры на преподавателя, показывала, кто есть кто в аудитории: «Вон те двое — близнецы Хэйлы, безобидные, но тупые; вон та, рыжая, — Присцилла, дочка мэра, обходи по большой дуге; а вон тот, в углу, — Том, влюблён в меня с седьмого класса, безнадёжно, но упорно». Элиза тихо смеялась, прикрывая рот ладонью, и на короткое время ей показалось, что всё, может быть, будет нормально. Что можно быть просто новенькой в новом колледже. Обычной девушкой.

А потом наступила перемена перед третьим занятием.

Прозвенел звонок — глухой, старый, будто церковный, — и аудитория загудела, зашевелилась, начала расходиться. Нора потащила Элизу в коридор, к своему шкафчику, болтая без умолку. И вот там, в тесном сумрачном коридоре с каменными сводами, среди снующих студентов, Элиза впервые это почувствовала.

Холод.

Он возник у неё на груди. Медальон под свитером вдруг стал холодным — по-настоящему, ощутимо холодным, так, что Элиза почувствовала это сквозь ткань, будто ей за пазуху сунули кусок льда. Очень резко, мгновенно. Между двумя ударами сердца тёплое серебро сделалось ледяным, и холод этот пополз по коже, по груди, вверх, к горлу, и вниз, к животу, и Элизе на миг показалось, будто она стоит на снегу, босая, — то самое, точь-в-точь то самое чувство, что было во сне, когда она смотрела на светлую фигуру.

Она резко остановилась.

— ...и вот тогда декан сказал, что если ещё раз, то... Элиза? — Нора обернулась, увидела её лицо. — Ты чего? Побелела вся. Плохо?

— Холодно, — прошептала Элиза, прижимая ладонь к груди, к медальону сквозь свитер. — Ты чувствуешь холод?

Нора недоумённо огляделась.

— Да вроде нет. Тут всегда как в склепе, но не холоднее обычного. — Она нахмурилась. — Слушай, ты правда бледная. Может, тебе...

Но Элиза уже не слушала.

Потому что она подняла глаза — и увидела его.

Он шёл по коридору им навстречу.

И Элиза поняла — сразу, всем существом, ещё прежде, чем успела подумать, — что холод идёт от него. Что медальон леденеет из-за него. Что вот он, вот оно, наяву, при свете дня, в старом каменном коридоре, — то, о чём писала ба-

бушка.

Он будет прекрасен — не так, как бывают прекрасны люди, а иначе, так, что от его красоты становится не жарко, а холодно.

Он был прекрасен.

Именно так — не «красив», а прекрасен, тем нечеловеческим совершенством, от которого делается не по себе. Высокий, волосы казались почти белыми в тусклом свете коридора, — с чертами лица настолько правильными, настолько безупречными, что на них было почти больно смотреть, как больно смотреть на снег в ясный день. Кожа бледная, гладкая, будто выточенная из мрамора. И глаза — светло-серые, почти прозрачные, ясные, спокойные, — глаза, в которых была та ровная, безмятежная глубина, какой не бывает у людей.

От него исходило сияние.

Не буквальное, никто вокруг, кажется, ничего не замечал; студенты расступались перед ним просто как перед высоким незнакомым человеком, — но Элиза чувствовала его так же ясно, как чувствовала холод медальона. Ровное, спокойное, чистое сияние. Холодное. Оно заполняло коридор, вытесняя всё остальное, и от него, как и во сне, хотелось не то отвернуться, не то шагнуть навстречу, ослеплённой.

Он шёл прямо к ней.

Элиза видела это отчётливо, он тоже её узнал. Что-то мелькнуло в его ясных глазах, когда взгляд его упал на неё.

Он остановился перед ними. Улыбнулся — и улыбка была тёплой, доброй, обезоруживающей, совершенно не вязавшейся с тем холодом, что лился от него на медальон Элизы. — Здравствуй, — сказал он.

Голос был низким, мягким, спокойным. Красивым. В нём звенело что-то далёкое и чистое — колокол, пение, — то самое, что она слышала во сне тысячу раз. У Элизы по спине пробежали мурашки.

— Ты новенькая? — продолжал он, обращаясь к ней одной, будто Норы рядом и не было. — Из дома Грей? Я слышал. — Он чуть склонил голову набок, разглядывая её с тем спокойным, ласковым вниманием, от которого хотелось довериться, раскрыться, шагнуть ближе. — Меня зовут Габриэль. Я тоже здесь недавно. Приехал пару недель назад. Так что мы с тобой оба — чужаки. — Он улыбнулся шире. — Приятно, когда есть ещё кто-то, кому здесь так же непривычно, как тебе. Не так одиноко.

Элиза открыла рот — и не нашла, что сказать.

Ей хотелось ответить. Хотелось улыбнуться в ответ, сказать своё имя, согласиться — да, одиноко, да, чужаки, да, давай держаться вместе, — потому что от него, несмотря на холод, исходило нечто невероятно притягательное: обещание покоя, безопасности, защиты. Рядом с ним хотелось быть. Хотелось, чтобы он смотрел на тебя вот так — ласково, спокойно, будто ты единственный человек в мире, будто он ждал тебя всю жизнь.

Он будет добр. Терпелив. Он войдёт в твою жизнь тихо и незаметно и станет тебе другом раньше, чем ты поймёшь, кто он такой.

И худшее в нём то, что он, возможно, даже не будет лгать нарочно. Он сам верит в то, что говорит.

Медальон жёг её холодом.

И этот холод — острый, ясный, невозможный при виде такого тёплого, доброго лица — был как ушат ледяной воды. Он привёл Элизу в чувство. Он кричал ей то, чего не видели глаза, то, во что отказывался верить рассудок: *это он. Это ангел света. Это тот, о ком предупреждала бабушка. Не верь. Не верь ни единому слову. Свет лжёт красиво.*

— Элиза, — сказала она наконец. Голос вышел сдавленным. — Меня зовут Элиза.

— Элиза, — повторил Габриэль, будто пробуя имя на вкус, и в его устах оно прозвучало так, как звучало во сне — нежно, торжественно, с той же интонацией, с какой светлая фигура звала её из белого пространства. — Красивое имя. — Он снова улыбнулся. — Я рад, что мы встретились, Элиза. Правда рад. Знаешь, — он чуть понизил голос, доверительно, — этот город бывает недобрым к чужакам. Холодным. Но ты не бойся. Пока я рядом — с тобой ничего не случится. Обещаю.

Он будет говорить тебе о свете, о покое, о том, что рядом с ним ты будешь в безопасности.

Элиза почувствовала, как у неё пересохло во рту.

— Спасибо, — выдавила она. — Мне... мне надо идти. Занятие. Извини.

Она схватила Нору за руку — та стояла рядом, притихшая, растерянно переводя взгляд с одного на другую, — и потянула её прочь по коридору, почти бегом, спиной чувствуя, как холод медленно отпускает, как медальон теплеет с каждым шагом, возвращаясь к обычной прохладе, по мере того как расстояние между ней и Габриэлем растёт.

Она не оглянулась. Но и без того знала: он смотрит ей вслед. Спокойно. Терпеливо. С той же тихой, доброй улыбкой.

Свет умел ждать.

— Ну ты даёшь, — сказала Нора, когда они завернули за угол, в другой коридор, подальше. Она высвободила руку и устоялась на Элизу во все глаза. — Ты чего? Это же Габриэль! За ним весь колледж бегают — а он на тебя посмотрел так, будто ты... не знаю. Будто он тебя всю жизнь ждал. А ты сбежала, как от чумного. Ты вообще нормальная?

— Что ты о нём знаешь? — спросила Элиза, не отвечая. Сердце всё ещё колотилось. — Про этого Габриэля. Что ты знаешь?

Нора пожала плечами, всё ещё удивлённая.

— Да немного. Он приехал в начале года, как и говорил. Живёт где-то один, снимает комнату у собора, вроде бы. Ни

с кем особо не общается, вежливый со всеми, но близко никого не подпускает. Очень умный, но не выпендривается. Помогает, если у кого проблемы, Габриэль тут как тут, тихо всё уладит и растворится. Учителя его уже обожают. Девчонки по нему сохнут — но он ни с кем. — Она задумалась. — Станный он, если так подумать. Слишком... идеальный, что ли. Ни одного плохого слова про него не слышала. А про кого у нас в городе не сплетничают? Только про него. Как будто и сказать нечего. — Она вдруг посмотрела на Элизу внимательнее. — А ты почему спрашиваешь? И почему сбегала?

Что она могла сказать? Что у неё на груди медальон, который леденеет рядом с ангелами света? Что её мёртвая бабушка оставила ей дневник о том, что весь мир и равновесие держится на женщинах их рода? Что этот прекрасный, добрый, идеальный Габриэль — не человек, а нечто древнее, пришедшее за её душой, и что он лжёт каждым своим ласковым словом?

Нора решила бы, что она сумасшедшая.

Как весь город решил про Маргарет.

— Просто голова закружилась, — сказала Элиза. — Не выспалась. Новый дом, всё чужое... накрыло. Извини.

Нора смотрела на неё ещё секунду — Элиза видела, что не поверила до конца, что что-то заподозрила, но потом лицо её смягчилось, и она махнула рукой.

— Ладно, замаяли. — Она подхватила Элизу под локоть.

— Пойдём, я тебе кофе куплю в автомате. Дрянь редкостная, но хоть согреешься. А то ты как привидение. — Она потянула её дальше по коридору, снова затараторив: — Слушай, а правда, что в вашем доме кто-то умер? Ну, недавно? Бабушка твоя? Говорят, её нашли в кресле у окна, она будто уснула, но глаза были открыты, и она смотрела в сад, и...

— Нора.

— Что? Ой. Прости. Я болтаю много, когда нервничаю, а ты меня нервируешь, потому что ты вся такая загадочная. Всё, молчу. Кофе. Идём за кофе.

Элиза позволила увести себя. Она слушала болтовню Норы вполуха, и постепенно тёплое, живое присутствие подруги — а Элиза уже думала о ней как о подруге, единственной здесь, — успокаивало её, возвращало в реальность. Медальон под свитером остыл до обычной прохлады. Коридоры снова стали просто старыми коридорами. Мир снова стал похож на мир.

Но она знала.

Теперь она знала точно.

Дневник не лгал. Сон не лгал. Всё было правдой — каждое слово. Он пришёл за ней. Он уже здесь, в этом колледже, он опередил её, он ждал её приезда, — прекрасный, добрый, терпеливый, — и он уже сделал свой первый шаг: назвал имя, предложил дружбу, пообещал защиту.

Пока я рядом — с тобой ничего не случится. Обещаю.

А позапрошлой ночью под её окном стояла тьма.

Двое. С двух сторон. Всё, как написала бабушка. Всё, как снилось всю жизнь.

Игра началась.

Остаток дня прошёл как в тумане.

Элиза высидела ещё два занятия, не слыша ни слова, — механически записывала что-то в тетрадь, кивала невпопад Норе, ждала четырёх часов. Габриэля она больше не видела, но постоянно ловила себя на том, что прислушивается, но не к звукам, а к медальону: не похолодеет ли снова, не появится ли ангел за спиной. Медальон молчал. Но само ожидание изматывало сильнее любого страха.

В четыре она вышла за ворота. Машины ещё не было — мать опаздывала. Элиза встала у каменной стены, обхватив себя руками от промозглого ветра, что тянул с холма, и стала ждать, глядя на серые крыши города, на две острые башни собора, торчащие над ними.

— Тяжело в первый день, да?

Элиза вздрогнула.

Нора подошла сзади, укутанная в громадный шарф, с рюкзаком за плечами.

— Меня тётя забирает, вон её колымага. — Она кивнула на дребезжащую машину чуть поодаль. — Слушай. — Она вдруг стала серьёзной, что было ей, кажется, совсем не свойственно. — Я весь день думала. Про то, как ты сбежала от

Габриэля. И знаешь что? — Она понизила голос. — Я тебя не осуждаю. Я, если честно, сама его немного... не то что боюсь, а как-то не по себе с ним. Все от него млеют, а мне рядом с ним всегда зябко. Прямо мурашки. Я думала, это только я такая ненормальная. — Она пожала плечами, смущённо. — А ты тоже это почувствовала, да?

Элиза замерла.

Медальон под свитером был тих и прохладен.

Элиза посмотрела на неё — на веснушчатое, честное, живое лицо, на карие глаза, в которых сейчас не было ни тени насмешки, только та же растерянность, что грызла и саму Элизу, — и внутри у неё что-то дрогнуло. Впервые за всё это время она была не одна. Впервые рядом оказался кто-то, кто, пусть смутно, пусть на ощупь, но чувствовал то же, что и она. Кто не сочтёт её сумасшедшей.

Ей отчаянно захотелось рассказать всё. Прямо сейчас, у этой каменной стены, под серым небом, — про дневник, про сны, про медальон, про ангела и демона. Выложить всё этой девочке, которую она знала полдня, но которой уже почему-то верила больше, чем кому-либо.

Но она не рассказала. Ещё рано. Слишком рано, слишком безумно.

— Да, — тихо ответила Элиза. — Я почувствовала то же самое.

— Значит, нас двое чокнутых, — сказала она и улыбнулась, но уже без прежней лёгкости. — Ну и ладно. Вдвоём

чокнутыми быть веселее. — Со стороны дребезжащей машины раздался нетерпеливый гудок. — Всё, бегу, тётя убьёт. Элиза. — Она уже отступала, но задержалась на секунду. — Ты держись меня, правда. Не знаю, что тут у тебя за дела, и не лезу пока. Но что-то мне подсказывает, что тебе тут понадобится кто-то нормальный рядом. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Элиза. И это было чистой правдой — она понимала лучше, чем Нора могла вообразить.

Нора махнула рукой, побежала к машине, впрыгнула внутрь; дверца хлопнула, колымага дребезжаще покатила прочь, — и Элиза снова осталась одна у стены, на ветру.

Она проводила машину взглядом. А потом посмотрела вверх, на холм, на собор с двумя острыми башнями, что чернел на фоне низкого серого неба.

И увидела его.

Габриэль стоял высоко на холме, у подножия одной из башен, там, где, по словам Норы, он снимал комнату. Далеко — она не различала лица. Но она знала, что это он: по светлым, почти белым волосам, что горели даже в этом тусклом свете; по неподвижности; по тому, как медальон у неё на груди отозвался слабым, далёким холодком — тонкой ниточкой, протянувшейся от него к ней.

Он смотрел на неё.

Он стоял там, наверху, у собора, и смотрел вниз, на неё, стоящую у ворот колледжа, — спокойно, терпеливо, — и даже с такого расстояния Элиза чувствовала это внимание,

эту ласковую, неотступную сосредоточенность, направленную на неё одну.

Свет умеет ждать, — сказала бы бабушка.

А где-то там, за городом, в чёрном лесу за старым домом, ждала тьма. Элиза знала это так же твёрдо. Двое.

С двух сторон.

Свет — на холме, у собора, весь на виду, при свете дня, добрый и терпеливый.

Тьма — в лесу, в темноте, в ночи, пугающая и притягивающая.

А она — между ними. Как все женщины на портретах. Как Маргарет. Как каждая из рода Грей за все эти века.

Элиза сжала медальон сквозь свитер, с далёкой ниточкой холода, что тянулась от холма, — и вспомнила слова бабушки, выученные за ночь наизусть.

Не выбирай ни одного. Не верь ни свету, ни тьме. И не снимай медальон.

Она не отводила глаз от фигуры на холме.

— Я тебя вижу, — сказала она тихо, одними губами. — Слышишь? Я тебя вижу. Я знаю, кто ты. И я не пойду к тебе. Ни к тебе, ни к тому, другому. Никогда.

Далёкая фигура на холме не шевельнулась. Но Элизе показалось — почудилось, — что где-то там, наверху, Габриэль улыбнулся. Мягко. Спокойно. Терпеливо.

Так улыбаются тому, кто ещё не понимает, что уже проиграл.

Подъехала мамина машина. Скрипнули тормоза. Хелен опустила стекло.

— Извини, задержалась, — сказала она. — Садись, замёрзла совсем. Ну как? Как первый день?

Элиза в последний раз взглянула на холм.

Фигуры там уже не было. Только серый собор, серое небо, чёрные башни. И тонкая, едва ощутимая ниточка холода на груди, которая медленно истаивала, — пока не пропала совсем.

Элиза открыла дверцу и села в машину. В тепло. Рядом с матерью, которая ничего не хотела знать и оттого была почти в безопасности.

— Нормально, — сказала Элиза, пристёгиваясь. — Я познакомилась с девочкой. Нора. Хорошая. Кажется, мы подружмся.

Лицо Хелен на мгновение осветилось — искренней, простой материнской радостью, которой Элиза давно не видела.

— Правда? — сказала она. — Вот и хорошо. Вот и славно. Подруга — это хорошо. Это то, что надо. — Она тронула машину с места. — Видишь? Я же говорила. Обычный колледж, обычные дети. Всё будет нормально, Элиза. Всё будет как у всех.

— Да, мам, — сказала Элиза, глядя в окно на уплывающий назад холм. — Как у всех.

Она не стала рассказывать про Габриэля. Про то, что дневник не солгал ни в едином слове и что игра, о которой писала

бабушка, уже началась — сегодня, здесь, в старом каменном коридоре, с тихого «здравствуй» и доброй улыбки.

Пусть мать ещё немного побудет в своём отрицании.

Пусть ещё немного поверит, что всё будет как у всех.

Скоро... Элиза чувствовала это так же ясно, как чувствовала холод и тьму, — скоро притворяться больше не получится ни у одной из них.

Машина катила по узким каменным улицам Рейвенхолла прочь от холма, прочь от собора, к старому дому на краю города, где в кресле у окна лежал дневник мёртвой женщины, а за окном темнел лес, в котором ждала тьма.

Позади, на холме, у подножия соборной башни, снова возникла светлая фигура и смотрела вслед удаляющейся машине.

Терпеливо, как подобает ангелу.